

三島由紀夫

Юкио  
МИСИМА

*Исповедь маски*

*Роман*



АЗБУКА

Санкт-Петербург

«...Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог загадал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я об этом много думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота?.. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит».

*Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я очень долго пытался доказать окружающим, что помню момент своего рождения. Взрослые всякий раз поначалу смеялись, а потом решали, что я над ними издеваюсь, и смотрели на бледного мальчика с совсем недетским лицом неодобрительно и укоризненно. Если это были какие-нибудь малознакомые люди, бабушка, боясь, что ее внука сочтут за идиота, резким голосом приказывала мне пойти куда-нибудь поиграть.

Все еще посмеиваясь, взрослые обычно пускались в какие-нибудь научные рассуждения. Стараясь выразиться попроще, чтобы ребенок понял, они понемногу распалялись. Младенец рождается с закрытыми глазами, говорили они. Но если даже и с открытыми, все равно его память не способна удержать увиденное. «Ну как, понял?» — спрашивали взрослые, похлопывая по плечу все еще сомневающегося ребенка. Тут они обычно спохватывались, вообразив, что попались на удочку маленького шутника. С детьми надо держать ухо востро.

Чертенюк наверняка подлавливает нас, чтобы спросить про «это самое». Сейчас пролепечет своим невинным голоском: «А откуда я родился? И почему?»

Поэтому в конце разговора взрослые всякий раз умолкали и смотрели на меня с какой-то непонятной оскорбленной улыбкой.

На самом деле их подозрения были совершенно безосновательны. Я вовсе не собирался расспрашивать их про «это». Да и потом, мне в голову бы не пришло расставлять взрослым какие-то ловушки — я слишком боялся вызвать их неудовольствие.

И все же, невзирая на все насмешки и разъяснения старших, я твердо знал, что помню миг своего рождения. Может быть, мне рассказал кто-то из присутствовавших при родах, а я потом об этом забыл? Или виной всему мое своевольное воображение? Как бы то ни было, одна картина так и стоит у меня перед глазами. Это край тазика, в котором купали новорожденного. Тазик был совсем новый, из отполированного свежего дерева; изнутри я видел, как на его бортике ослепительно вспыхнул луч света — яркий, золотой, и всего в одном месте. Лившаяся в тазик вода пыталась слизнуть этот золотой блик, но так и не сумела. Наоборот, вода вокруг меня, то ли отражая луч, то ли вобрав его, и сама заискрилась огоньками, по ней прошла мелкая сияющая рябь.

Самый сильный аргумент против подлинности этого воспоминания состоит в том, что я родился не днем, а в девять часов вечера. Так что никакого солнца в тот момент сиять не могло. Надо мной подшучивали, говоря, что это, наверное, был свет электричества, но я без труда отмахивался от соображений здравого смысла и по-прежнему оставался непоколебим: пусть это было хоть глубокой ночью, все равно край тазика вспыхнул золотым сиянием. И я был твердо уверен, что видел тот яркий луч не когда-нибудь, а именно сразу после своего рождения.

А родился я через два года после Великого землетрясения. За десять лет до этого события мой дед, губернатор одной из колоний, был вынужден подать в отставку: чтобы замять один крупный скандал, он взял на себя вину своего подчиненного. (Я не приукрашиваю эту историю — в жизни не встречал человека, который с таким абсолютным, идиотским доверием относился бы к окружающим, как мой дед.) И с тех пор дела нашей семьи со стремительным, я бы даже сказал, каким-то залихватским ускорением покатились под гору. Чудовищные долги, опись имущества, продажа имения — чем хуже шли денежные дела семейства, тем болезненнее воспалялось тщеславие его членов, словно одержимых некоей темной силой.

Вот почему на свет я появился в запущенном наемном особняке, расположенном в далеко не самом престижном районе столицы. Этот дом, с мрачными, закопченными стенами, стоял на склоне холма; с одной стороны в нем было два этажа, с другой — три. Вид он имел довольно заносчивый и нелепый: помпезные железные ворота, широкие газоны, гостиная размером с буддийский храм. В особняке было множество плохо освещенных комнат и целых шесть служанок. Всего под этим скрипучим, как старый сундук, кровом жили десять человек: дед, бабушка, мои родители и прислуга.

Причина злосчастий нашего семейства коренилась, с одной стороны, в неумном предпринимательском пыле деда, а с другой — в вечных болезнях и безрассудной расточительности бабушки. Дед то и дело увлекался какими-то сумасшедшими проектами, которые подсовывали ему всякие сомнительные приятели, и отправлялся за тридевять земель в погоне за золотым дождем. Бабушка, происшедшая из старинного рода, относилась к своему супругу с ненавистью и презрением. Нрава она была неустойчивого, но душу имела поэтическую — с некоторым налетом безумия. Хроническая невралгия постепенно подтачивала ее нервную систему, одновременно придавая еще бóльшую остроту ее уму. Допускаю, что приступы депрессии, мучившие бабушку

вплоть до самой смерти, были следствием тех страданий, которые доставлял ей дед своими похождениями в более молодые годы.

Вот в какой дом привел мой отец хрупкую и очаровательную невесту, мою будущую мать.

Утром 14 января 1925 года у нее начались схватки. А в девять часов вечера она разродилась хилым младенцем, весившим немногим более двух килограммов. На седьмой день ребенка нарядили в розовое фланелевое белье, шелковое кимоно с узорами, и дед в присутствии всех домочадцев торжественно написал мое имя на свитке, который поместил в семейный алтарь — токонома.

Волосы у меня долго оставались светло-золотистыми. Их натирали оливковым маслом до тех пор, пока они не почернели. Отец с матерью жили на втором этаже, и на сорок девятый день бабушка забрала меня у них, заявив, что таскать ребенка по лестнице вверх-вниз опасно. Таким образом, моя кровать оказалась в вечно закупоренной комнате бабушки, где пахло старостью и болезнью. Там я и рос.

Когда мне был год, я упал с третьей ступеньки лестницы и расшиб себе лоб. Бабушка была в театре кабуки, и, радуясь свободе, мать с гостившими у нас двоюродными братьями и сестрами отца устроили шумное веселье. Когда мать пошла за чем-то на второй этаж, я побежал за ней следом, наступил на край ее кимоно и упал.



В театр срочно позвонили. Вернувшаяся бабушка остановилась в дверях, опираясь на палку, и пристально поглядела в лицо вышедшему ее встречать отцу. Потом медленно, чеканя каждый слог, спросила странно спокойным голосом:

— Он умер?

— Нет.

Тогда бабушка величественно и уверенно, словно жрица в храм, вошла в дом...

В новогоднее утро — мне тогда шел пятый год — я внезапно ощутил приступ тошноты, и меня вырвало чем-то кофейно-коричневым. Домашний доктор, осмотрев меня, заявил, что не ручается за мое выздоровление. Меня всего истыкали уколами камфары и глюкозы. Пульс не прощупывался. Через пару часов собрались все домашние посмотреть на мое мертвое тело...

Сшили саван: принесли мои любимые игрушки, приехали родственники.

Еще через час я вдруг обмочился. Старший брат матери, сам доктор, воскликнул: «Он выживет!» Появление мочи означало, что сердце снова заработало. Вскоре я обмочился вновь. Щеки у меня постепенно порозовели от света возвращавшейся жизни.

Эта болезнь — она называлась «самоинтоксикация» — стала хронической. Раз в месяц она непременно навещала меня, то в легкой

форме, то в тяжелой. Неоднократно случались опасные приступы. Со временем я научился различать по первым признакам приближающегося кризиса, близко он подведет меня к смерти или не очень.

Примерно к этому периоду относится мое первое, уже несомненное, воспоминание; его странная тень доставила мне немало страданий.

Я не помню, кто в тот день вел меня за руку — мать, няня, горничная или тетя. Не помню и время года. Предвечернее солнце неярко освещало дома на холме. Женщина — какая-то женщина — вела меня за руку вверх по улице, мы возвращались домой. Навстречу нам кто-то спускался, и моя провожатая, сильно потянув меня за ладонь, освободила проход. Мы остановились.

Эта картина бесчисленное количество раз воскресала в моей памяти, приобретая все новые и новые оттенки смысла, по мере того как я сосредоточенно размышлял над ней. Из всей сцены, мутной и размытой, мне совершенно ясно и отчетливо запомнилось лишь одно: этот кто-то, спускавшийся нам навстречу. Еще бы — ведь то было первое из видений, терзавших и преследовавших меня всю жизнь.

По улице спускался молодой парень. Через плечо он нес две деревянные бадьи для нечи-

стот, голова его была обмотана грязным полотенцем, румяные щеки сияли свежестью, глаза ярко блестели. Парень ступал осторожно, чтобы не расплескать свой груз. Это был золотарь. Он был одет в облегающие синие штаны и матерчатые рабочие тапочки. Я, пятилетний, смотрел на незнакомца во все глаза. Тогда впервые я ощутил притяжение некоей силы, таинственный и мрачный зов — хотя, конечно, и не мог еще уяснить значение произошедшего. То, что сила эта в первый раз предстала передо мной в облике золотаря, весьма аллегорично. Ведь нечистоты — символ земли. Это сама мать-земля поманила меня своей недоброй любовью.

Меня охватило предощущение того, что в мире есть страсти, обжигающие не меньше огня. Я смотрел на золотаря снизу вверх и вдруг подумал: «Хочу быть таким, как он». И еще: «*Хочу быть им*». Отчетливо помню, что больше всего меня привлекли две вещи. Во-первых, синие в обтяжку штаны. И во-вторых, ремесло этого парня. Штаны плотно облегли его ноги и нижнюю часть туловища. Тело под ними жило и двигалось, приближаясь мне навстречу. Я ощутил прилив невыразимой любви к этим узким штанам — сам не понимая почему.

А что до его ремесла... В тот миг во мне родилось жгучее желание вырасти и стать золотарем. Я мечтал об этом с таким же пылом,

как другие мальчишки мечтают сделаться великими полководцами. Отчасти причиной моего решения были синие штаны, но, конечно, не только они. Было и еще нечто, странным образом зревшее во мне по мере того, как усиливалось желание стать золотарем.

Я чувствовал в этом ремесле какую-то особую скорбь, именно к этой испепеляющей скорби меня и влекло. Я очень осязаемо, даже чувственно ощущал *трагичность* работы золотаря. Мне мерещилось в ней и самоотвержение, и безразличие ко всему на свете, и родство с опасностью, и удивительная смесь тщетности жизни с жизненной силой. Все эти качества совершенно покорили пятилетнего мальчика. Наверное, я неправильно представлял себе ремесло золотаря. Скорее всего, мне рассказывали про какую-то совсем другую профессию, а я перенес услышанное на того парня, пораженный его нарядом. Другого объяснения быть не могло.

Поэтому неудивительно, что со временем мной овладели иные мечты. Сначала я хотел стать водителем «цветочного трамвая» (так назывались разукрашенные трамваи, ездившие по улицам в дни праздников), потом — контролером в метро. А все потому, что мне чудилось в их работе нечто «трагическое», нечто такое, о чем я не имел понятия, от чего я был навечно отстранен. Вот, например, контролер метро: разве не веяло ароматом трагедии от

того, как дисгармонировала его синяя, украшенная золотыми пуговицами форма с резким запахом резины и мяты, которыми постоянно несло тогда из подземки? Я был просто уверен, что жизнь человека, вынужденного находиться среди такого запаха, непременно «трагична». Итак, у меня было собственное определение «трагического»: нечто, происходящее в недоступном мне месте, куда стремятся все мои чувства; там живут люди, никак со мной не связанные; происходят события, не имеющие ко мне ни малейшего отношения. Я отторгнут оттуда на вечные времена; и эта мысль наполняла меня грустью, которую в мечтах я приписывал и той, чужой, жизни, тем самым приближая ее к себе.

Мое детское увлечение «трагическим» было, наверное, предчувствием грядущего несчастья: мне предстояла жизнь одинокого изгнанника.

Вот еще одно из моих первых воспоминаний.

Я научился читать и писать в шесть лет. А ту книжку с картинками прочесть я еще не мог — значит, мне было лет пять.

Из всех многочисленных книжек, имевшихся в нашем доме, я полюбил только одну, да и в той всего лишь одну-единственную картинку. Когда я разглядывал ее, долгий и скучный день пролетал незаметно. Если же кто-то ко мне приближался, я чувствовал непонятный

стыд и поспешно переворачивал страницу. Назойливая опека няnek и горничных выводила меня из себя. Мне хотелось рассматривать эту картинку с утра до вечера, день за днем, и так всю жизнь. Каждый раз, когда я раскрывал заветную книгу, мое сердце сжималось; но лишь одна страница действовала на меня подобным образом, остальные я проглядывал равнодушно.

На картинке была изображена Жанна д'Арк с поднятым мечом, верхом на белом коне. Конь свирепо раздувал ноздри и бил о землю мощным передним копытом. На серебряных доспехах Жанны д'Арк был какой-то красивый герб. Сквозь забрало виднелось прекрасное лицо — лицо серебряного рыцаря, который, занеся меч высоко-высоко, в синее небо, мчался навстречу смерти или, во всяком случае, навстречу чему-то злобному и опасному. Я был твердо убежден, что в следующий миг воин погибнет. Мне казалось: если очень быстро перевернуть страницу, то непременно увидишь картинку, на которой рыцарь лежит уже убитый. Кто их знает, эти книжки с картинками, — вдруг есть какая-то хитрость, позволяющая заглянуть в то, что случилось дальше...

Но однажды моя няня совершенно случайно открыла книгу именно на этом месте (я исподтишка наблюдал за ней) и спросила:

— А ты знаешь, кто тут изображен?

— Нет.

— Наверное, ты думаешь, это мужчина? А вот и нет, это женщина. Она переоделась в мужской наряд и отправилась воевать, чтобы спасти свою страну.

— Женщина?!

Я был сражен. Тот, кого я считал женщиной, вдруг превратился в женщину. Во что же можно верить, если такой прекрасный рыцарь оказывается женщиной? (У меня и поныне вид женщины, переодетой в мужское платье, вызывает глубокое, необъяснимое отвращение.) Как долго и сладко мечтал я о гибели рыцаря, и вот такое жестокое разочарование! Это была первая месть реальности, испытанная мною в жизни.

Годы спустя я прочел у Оскара Уайльда строки, воспевавшие смерть прекрасного рыцаря:

Прекрасен рыцарь, что лежит, сраженный,  
Средь тростника и камыша...

А книгу про Жанну д'Арк после того случая я ни разу больше не раскрыл. Даже не прикасался к ней.

Гюисманс пишет в романе «Там, внизу» о Жиле де Ре, назначенном по приказу короля Карла VII телохранителем к Жанне д'Арк: этот человек, вскоре свершивший «самые утонченные преступления и изысканнейшие жестокости», сделался мистическим злодеем под воздействием невероятных чудес, которые сотво-